

Александр СОРОКИН

Путем преодоления

Я чающий и говорящий.
 Заумно, может быть, поет
 Лишь ангел, Богу предстоящий,—
 Да Бога не узревший скот
 Мычит заумно и ревет.
 А я — не ангел осиянный,
 Не лютый змий, не глупый бык.
 Люблю из рода в род мне данный
 Мой человеческий язык...

Вл. Ходасевич

У КЬЕРКЕГОРА ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РАБОТА*, посвященная рыцарям веры. Такой рыцарь всегда предоставлен лишь самому себе и в осознании абсолютного долга перед Всевышним достигает той страстной сосредоточенности, той непреклонности, какие недоступны даже трагическим героям, величие которых проявляется на фоне общего и поступки ограничены этическими обязательствами перед окружающими. Рыцарь веры готов пожертвовать всем самым для себя дорогим и любимым, если эту жертву востребует Бог, и собственную судьбу мыслит как бескорыстное испытание, посылаемое ему Творцом. Недостигаемым образом рыцаря веры был для Кьеркегора библейский Авраам с его абсурдной решимостью по воле небес принести в жертву сына Исаака — единственную опору и последнюю надежду старости. И Господь не оставил его...

Подобным рыцарем, но не религиозной веры, а русского слова представляется мне Владислав Фелицианович Ходасевич — младший в ряду апостолов литературного подвижничества, где в первую очередь сердце подсказывает имена Баратынского и Анненского. Именно вера в Слово укрепила их поэтический дар, в зародыше, может быть, меньший, чем у великих современников, позволила прикоснуться к вечному и остаться в вечном.

По своему характеру стихи Ходасевича напоминают мне нелегкий нрав старого князя Болконского: та же скрытая за внешней сухостью неподдельная доброта. Я не знаю другого поэта, способного так «нежно ненавидеть» и так «язвительно любить».

Он трудно писал, и читать его столь же нелегкое дело. Под стать гениальному предшественнику Баратынскому, Ходасевич не претендует на роль «вещателя общих дум»; слишком строг отпущенный ему свыше «дар тайнослышанья тяжелый», чтобы пещься

* «Страх и трепет».

о склонностях и пристрастиях читателя. Однако не поленившиеся потратить силы на преодоление почти физически ощутимого сопротивления материала (точно выраженного словами самого поэта: «И каждый стих гоня сквозь прозу, Вывихивая каждую строку...») неожиданно открывается мир его чаяний, тягб и прозрений, без лишних зауми и ведовства: результат удивительного сочетания трудолюбия пчелы с истинно художественным полетом фантазии. С этой поры Ходасевич покоряет надолго, может быть, навсегда.

В пределах небольшой заметки ограничусь одной характерной особенностью его творчества, которая, по-моему, во многом определила его путь как художника. В дневниковых записях Блока я натолкнулся на замечательное наблюдение. «Во всяком искусстве,— пишет Блок,— больше не искусства, чем искусства». Он сравнивает искусство с радиом, способным радиактивировать все — самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное. Поэзия Ходасевича является тому наглядным примером. Ходасевич идет к поэзии через преодоление прозы со всеми ее отталкивающими чертами, в отличие, например, от Пастернака, изначально подходящего к прозе с позиции искусства, то есть извлекающего из нее то, что более соответствует его художественному вкусу. Путь первого — преодоление, второго — избирательность. Моя цель в данном случае — задаться вопросом о возможностях, которые раскрывает каждый из двух выбранных путей.

На стезе Ходасевича любая неточность грозит обернуться грубым натурализмом или, другими словами, непреодоленной первой реальностью, но в случае удачи слово обретает ту естественность, где литература преобразуется жизненностью переживания, будто стихи пишет сама судьба. Его последняя книга «Европейская ночь» особенно показательна в плане нашего разговора. Даже самые натуралистические ситуации (как то: старик в берлинском туалете; строй «жидколягих комет» из ночного бара; белокурая болезненная Марихен у пивной стойки; положения персонажей стихотворения «Окна во двор» и многое другое) превращены Ходасевичем в высокое искусство, где нет места ни пошлости, ни — на другом полюсе — украшательству, но есть тайна; где серость графически четко очерченного переднего плана не мешает просиять далекому и безбрежному небу. Подобным произведениям присущ катарсис в широком понимании этого слова.

Пастернак рисковал меньшим. Густая метафоричность и размашистость пастернаковского стиха покрывает смысловые и стилистические огрехи, неизбежные при «слагании стихов навзрыд», позволяя раздвинуть жесткие рамки искусства, расширить поэтический словарь путем введения множества бытовых деталей, соединения высокой лексики с просторечиями и так далее. Но свободу и зрелищность художник завоевывает в ущерб последней углубленности — «поверх барьеров», расставленных жизнью как она есть. Только в пору зрелого мастерства Пастернак пришел к необходимости «неслыханной простоты»,

которая, по его же словам, «всего нужнее людям», и создал стихотворения такого рода, как «Никого не будет в доме...», «Свеча горела на столе...», «Засыпет снег дороги...».

Попытаюсь примером дополнить вышесказанное. Все знают и любят стихотворение Пастернака «Рождественская звезда». Его роскошная звукопись покоряет тонкого ценителя, и все же, на каком-то более глубинном уровне восприятия, возникает неудовлетворенность этой праздничностью, этой роскошью. Именно такое чувство испытывал Георгий Адамович, отмечавший, что избыточная художественность многих стихотворений Пастернака действует на него так же, как если бы голодный просил кусок хлеба, а ему в ответ протянули бы пирожное с кремом. Недаром Блок, наиболее музыкальный из поэтов, заметил, что чем труднее рождение звука, тем более ясную форму стремится он принять и тем неотступней преследует человеческий слух.

Пришествие Христа в мир — таинственное событие, изменившее ход всемирной истории, и трудность его художественного изображения заключается во внутренней потребности отыскания очень простых, всепонятных, банальных и в то же время значительных и глубоких образов. Они были найдены творцами Евангелий, и с тех пор никто не смог превзойти их, разве только приблизиться к означенной высоте, как это удалось, на мой взгляд, Федору Сологубу:

В бедной хате, в Назарете
Обитал ребенок-Бог,
Он однажды на рассвете,
Выйдя тихо за порог,
Забавлялся влажной глиной,—
Он кускам ея давал
Жизнь и образ голубиный,
И на волю отпускал,—
И неслись они далеко,
И блаженство бытия
Возвещала от востока
Новозданная семья...

О, Божественная Сила,
И ко мне сходила ты,
И душе моей дарила
Окрыленные мечты,—
Утром дней благоуханных
Жизни трепетной моей
Вереницы новозданных
Назаретских голубей.
Ниспошли еще мне снова
В жизнь туманную мою
Из томления земного
Сотворенную семью.

«Блаженство бытия», «окрыленные мечты», «утро дней благоуханных» и подобные им словосочетания уже при жизни автора этого

стихотворения обрели статус литературных штампов, но оно, и в этом победа его создателя, несмотря ни на что дышит и светится, оставляя впечатление одновременно и детской непосредственности, и сдержанной страстности умудренного жизнью мыслителя. Наряду с этим, что не менее важно, Сологуб не берется за пересказ текстов Писания, а создает собственный апокриф, основанный на личном опыте и не перегруженный сложными метафорами и сравнениями. Можно сказать, что здесь «пахнет» тем «хлебом», которого так недоставало «голодному» Адамовичу в творениях Пастернака.

Знаменательно, что Ходасевич, пытаясь создать рождественское стихотворение, не заканчивает его, видимо, осознав невозможность в прямом описании соперничать с евангелистами; слова как бы сами наложили запрет на эту тему, их как бы не хватило поэту, честно глядящему в глаза своей Музе:

Мечта моя! Из Вифлеемской дали
Мне донеси дыханье тех минут,
Когда еще и пастухи не знали,
Какую весть им ангелы несут.

Все было там убого, скудно, просто:
Ночь; душный хлев; тяжелый храп быка.
В углу осел, замученный коростой,
Чесал о ясли впалые бока,

А в яслях... Нет, мечта моя, довольно:
Не искушай кощунственный язык!
Подумаю — и стыдно мне, и больно:
О чем, о чем он говорить привык!

Здесь уже в самой недосказанности все сказано — не меньше, чем в виртуозно-протяженном, игровом стихотворении Пастернака, но это свидетельство прямее и убедительнее. Именно «не искушать кощунственный язык», не заигрывать с Музой, часто карающей за ложное самомнение, за искажение правды языка, учит опыт Ходасевича, ведь так редки мгновения, когда «небом невозбранно дышит почти свободная душа».

Что же сказать в заключение? В своей любви я пристрастен, но не однокбок; мне радостно оказаться свидетелем счастливого события, когда из крылатого звука возникает неожиданный образ, как это случается у Пастернака, но еще более я ценю тяжеловесный труд озвучивания просящейся на волю поэтической мысли, доступный Ходасевичу и в высшей степени Баратынскому. Подобным художникам приходится отказываться от многого ради качественно большего, от широты проявления своего дара ради глубины проникновения в тайну жизни и судьбы. Как и все мы грешные, они вправе мечтать об известности и почете, но... «не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел».